



DOI 10.22363/2312-9220-2018-23-1-7-28

УДК 821.161.1

«...ПОМНЮ ЕГО КРОВНО» (А.Л. БЛОК В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСКОЙ СУДЬБЕ А.А. БЛОКА)

В.А. Сарычев

Липецкий государственный педагогический университет

им. П.П. Семенова-Тян-Шанского

ул. Ленина, 42, Липецк, Россия, 398020

Статья посвящена исследованию драматизма, который окрашивал взаимоотношения Блока и его отца. В отличие от предшественников, отводивших А.Л. Блоку незначительную и чаще всего негативную роль в судьбе поэта, автор публикации показывает, что между отцом и сыном существовала некая «тайная» — духовная — связь. Для обоснования данного тезиса вниманию читателей предложен обширный материал, включающий в себя эпистолярные свидетельства Блока об отце, воспоминания родственников, знакомых и учеников варшавского профессора, изложение наиболее ярких его научных идей. Итогом проведенного анализа явилась мысль о глубинном, мировоззренческом родстве отца и сына, положенном в основу художественной концепции поэмы «Возмездие», над которой А. Блок работал до конца дней.

Ключевые слова: А.А. Блок, «тьнь отца», «тайное» родство, тоска по иллюзии, странники духа, демонический индивидуализм, трагическое мирозерцание

Работая над биографией Д.И. Фонвизина, П.А. Вяземский заметит: «Изыскания родословные не нужны в биографии литератора: дарования не майорат» [8. С. 17]. Высказывание это до сих пор не потеряло актуальности, ибо выстраивание всякого рода умозрительных конструкций, генерирование скоропалительных заключений, тем более проведение рискованных параллелей на генеалогической основе только повредит делу и не приблизит к истине. Конечно, каждый штрих в судьбе большого человека (в том числе и относящийся к его предкам) может быть полезным и поучительным, а для читателя — еще и интересным, однако в биографии должно стремиться к накоплению и анализу фактов не столько внешнего, сколько внутреннего порядка. Биографическая деталь только тогда приобретает подлинную ценность, когда она находит отражение в духовном мире личности, способствуя или ее росту, или ее стагнации. Эта мысль настолько очевидна, что, напоминая ее, всякий раз рискуешь впасть в банальность. Но что поделаешь: биографы слишком часто забывают про эту истину, на десятки страниц расцвечивая свои сочинения к месту не идущими событиями.

Особенно страдают от такого подхода художники. «Первым и главным признаком того, что данный писатель не есть величина случайная и временная, — говорил Блок, — является чувство *пути*. <...>

Писатель — растение многолетнее. Как у ириса или у лилии росту стеблей и листьев сопутствует периодическое развитие корневых клубней, — так душа пи-

сателя расширяется и развивается периодами, а творения его — только внешние результаты подземного роста души» [5. Т. 5. С. 369—370].

Хотя поэт этого и не произнес вслух, из процитированного рассуждения ясно, что художественные произведения для него — своего рода годовые кольца поперечного среза деревьев, именно они запечатлевают «рост души» истинного художника.

Есть и другое размышление Блока на этот счет. На сей раз оно дано в изложении мемуариста — его двоюродного брата Г.П. Блока. «Я сказал [беседуя с ним], — вспоминал Г. Блок, — что общепринятое противоположение Фета Шеншину — по-моему вздор: очевидно, и в жизни и в стихах корень один и нужно его угадать. Он ответил:

— Да, корень один. Он — в стихах. А жизнь — это просто “кое-как”. Так бывает почти всегда» [7. С. 183].

Может показаться, что первое блоковское рассуждение противоречит второму: в одном случае, стихи — «внешние результаты» сложных, порой таинственных путей жизни, в другом — главное — стихи, а жизнь художника, по Блоку, нередко оказывается случайной и внешней. Однако это кажущееся противоречие. Не забудем, что зафиксированный разговор состоялся в конце ноября — начале декабря 1920 года. Смерть уже стояла за спиной Блока, а хотя бы интуитивное ощущение близкого конца мало располагало к оптимизму. Между тем оба раза поэт высказал, по сути, одну и ту же мысль: жизненная и поэтическая стихии — одноприродны, общий их корень исследователю необходимо «угадать», т.е. постичь, проникнуть в их соприродную тайну.

Блок указал нам направление нашей работы. Главное в биографическом повествовании не внешняя событийная канва, хотя без этого, разумеется, не обойтись, а претворение факта внешнего в факт внутренний. Событие должно быть пережито и, следовательно, освоено героем биографии, лишь в этом случае оно становится собственно биографическим событием. Данное обстоятельство, разумеется, характерно и для детства, отрочества, юности поэта, это некое введение в жизнь Блока, своеобразный ее зачин, своего рода прелюдия его биографии.

Хорошо известно, что прелюдия в некоторых музыкальных произведениях заключает в себе (пусть и в зачаточной форме) все те основные оркестровые темы, которым предстоит дальнейшее развертывание и развитие. В этом смысле она представляет собой некое музыкальное ядро произведения, в своем росте стремящееся стать целым и даже породить целое.

Уподобляя начальную пору жизни Блока музыкальной прелюдии, автор рассчитывает показать, как уже в эти годы под влиянием и воздействием жизненных впечатлений у него формировалось то самое «трагическое мирозерцание», о котором он сам заявит в «Крушении гуманизма» (1919) и которое в самом деле определяло и его миропонимание, и его мироотношение.

У каждого человека есть заветные воспоминания, всплывающие в сознании в кризисные моменты его жизни. Они — или укор больной, исстрадавшейся совести, или «нечаянная радость» встречи измученного неумемной тоской сердца с чистыми, бесхитростными переживаниями детства.

У Блока тоже были такие воспоминания. 24 января 1921 года, надеясь завершить свои «Rougon-Macquart'ы» — поэму «Возмездие», он делает набросок продолжения второй главы. Жизнь подходила к концу, и поэт усилием памяти возвращает себя в ее начало, когда вместе с дедом и бабушкой, матерью и тетками он на все лето переезжал в «благоуханную глушь» Шахматова и оказывался в «земном раю» [5. Т. 8. С. 337].

Блок и впрямь помещает своего героя в некий первозданный Эдем, заставляя и читателя и самого себя как бы забыть, что «не может сердце жить покоем...» Здесь «тишина цветет», а образ «старого дома», со всех сторон укрытого какой-то неведомой силой «от ветров северных» и будто бы опрокинутого «в синий купол небосклона», служит символом жизненной прочности, неколебимости ее устоев. В блоковском отрывке: «Огромный тополь серебристый...» и т.д. [5. Т. 3. С. 446, 468] — неумолимый ход времени остановлен, создано впечатление, что оно не властно над людьми. «Остановись, мгновение, ты прекрасно!» — словно просило уставшее блоковское «земное сердце», и поэт выполнил его волю. Лишь в детстве кажется, что время вечно, а перед «холодным сном могилы» вновь хочется окунуться, как в «живую воду», в это оздоровляющее ощущение. Лишь в эти годы человеку дана непреложная вера, что никогда не прервется «дороги узкой колея...»

Блок тут не исключение. Словно боясь оборвать связующую нить между собой сегодняшним и тем Сашурой, которым был вчера, он длит пребывание в своем прошлом, спешит все успеть, обо всем рассказать, хочет зачерпнуть былого счастья полной мерой, а недодуманные мысли, брошенные на полуслове строки, непрописанные образы только закрепляют это ощущение.

Уж осень, хлеб обмолотили,
И, к стенке прислонив цепи,
Рязанцы к веялке сложили
(Уже последние снопы).
Потом зерно в мешки ссыпают,
Белеющие от муки,
В телегу валят, и сажают
Наверх ребенка на мешки.
Мешков с десятков по три меры
Везет с гумна в амбар шажком
Почти тридцатилетний серый,
За ним — рязанцы вшестером,
Приказчик, бабушка с плетеной
Своей корзинкой для грибов —
Следят, чтоб внук неугомонный
Не соскользнул..... с мешков.
А внук сидит, гордясь немного,
Что можно править самому,
И по гумну на двор дорога
Предлинной кажется ему.

Почти идиллическая картинка! В принципе она не в духе Блока: идиллий он не создавал. Объясняется это просто. Во-первых, стихи не прошли должного ре-

дакторского отбора и правки. Во-вторых, радостное настроение зарисовок детства потребовалось поэту для контраста с ходом дальнейшего повествования, далеко не радостного и не оптимистичного. В-третьих, не забудем, что в наброске второй главы поэмы воссоздаются события раннего детства Блока, та самая счастливая пора, которая еще не знает серьезных огорчений, не научилась их распознавать. Отсюда и легкий налет идеализации, более заметный в предшествующих процитированным строках:

Он был заботой женщин нежной
От грубой жизни огражден,
Летели годы безмятежно,
Как голубой весенний сон.
И жизни (редкие) уродства
(Которых нельзя было не заметить)
Возбуждали удивление и не нарушали
благородства
И строй возвышенной души [5. Т. 3. С. 469].

То, что его воспитывали женщины (преимущественно мать и ее сестры), абсолютно верно — богатый материал об этом читатель может почерпнуть из книг первого биографа поэта М.А. Бекетовой. Отсюда — дух и характер этого воспитания: «Флобера странное наследство — / *Education sentimentale*» [5. Т. 3. С. 337], — определит его потом Блок в «Возмездии». Оно еще не единожды скажется на лирическом строе его души, определит поистине женственную природу и восприимчивость как его личности, так и его художественного дара.

Что же касается летящих якобы «безмятежно» годов его детства и отрочества, тем более «уродств» окружающей его в ту пору среды... Здесь с Блоком придется не согласиться. Увы, «уродства» все же были, и не такие уж «редкие». Правда, он не нашел более подходящего к случаю выражения, но это — факт. И Блок их не только замечал, но и больно на них реагировал. Приходится также сказать, что впечатления, вынесенные им из детства и юности, «нарушали» (и нарушили!) присущее поэту «благородство», явно смутили «строй» его «возвышенной души», а это, в свою очередь, нашло свое выражение и в «строе» его лирики. Просто с годами, как водится в этих случаях, острота реакции притупилась, и автор «Возмездия» «простил» и себе и своим близким «прегрешения вольные и невольные».

В задачу автора статьи входит тяжелая обязанность рассказать о родственных связях Блока все без утайки, без обычного для решения данного вопроса «хрестоматийного глянца». Рассказ этот будет вестись без оглядки на произвольные концепции, а сообразуясь с волей самого поэта; благо, что в своей неоконченной поэме он собственноручно определил конфликт А.Л. Блока с родом Бекетовых как центральный и для своей личной судьбы, и для судьбы русского общества рубежа 70—80-х годов XIX века. Подобный поворот проблемы может показаться странным, но только не для Блока. Дело в том, что в образах деда и отца он усматривал выразителей двух противоборствующих сил той эпохи: умирающего либерального позитивизма и зарождающегося индивидуализма. Закон диалектики предполагает не только борьбу, но и единство противоположностей. Встреча от-

прысков «двух враждебных станом» дала России и миру А. Блока, осознавшего ее трагическую неслучайность. До самых последних дней своей жизни он думал о продолжении «Возмездия», воспринимая собственную судьбу как точку пересечения «бекетовского» и «блоковского» начал, их возможного синтеза, а следовательно, и примирения.

Не то было в жизни. Набрасывая в октябре 1911 года план поэмы, Блок писал: «Начало — на рубеже 70—80-х годов. Прекрасная семья. Гостеприимство — стародворянское, думы — светлые, чувства — простые и строгие». И — в другом месте: «...Но уже на все это глядят чьи-то *холодные* глаза. В дружной семье появляется “странный незнакомец”...» [5. Т. 3. С. 463, 462]. Это — о семье деда — А.Н. Бекетова и отца — А.Л. Блоке — драматичная по своему духу завязка и поэмы, и жизни ее автора.

4 декабря (старого стиля) 1909 года Блок сообщил матери из Варшавы: «Мама, сегодня были похороны... Из всего, что я здесь вижу и через посредство десятков людей, с которыми непрестанно разговариваю, для меня выясняется внутреннее обличье отца — во многом совсем по-новому. Все свидетельствует о благородстве и высоте его духа, о каком-то необыкновенном одиночестве и исключительной крупности натуры...» [11. С. 292]. Спустя сорок с лишним дней, 18 января 1910 года, он снова делился с нею своими размышлениями о личности отца: «Отцовский мрак находится еще на земле и вокруг меня увивается. Этого человека надо замаливать» [12. С. 60].

Эти два письменных свидетельства Блока характеризуют как его сложное отношение к личности Александра Львовича, так и мучительный, исполненный истинного драматизма характер этого человека.

Не составляет труда заметить, что поэт во многих отношениях смотрел на отца глазами своего бекетовского окружения и прежде всего, разумеется, глазами своей матери. Подобный угол зрения по вполне понятным причинам не мог быть объективным, наоборот, он отличался пристрастностью. Редкие встречи сына и отца в Петербурге, инициатива которых всегда исходила от последнего, не могла растопить в сердце мальчика холодок недоверия и отчуждения, а Александр Львович, не умевший подобрать ключи к сердцу сына, страдал от этих встреч гораздо больше, чем юный Блок. Видимо, он хорошо осознавал вымороченный характер свиданий с сыном, однако оборвать эти отношения было выше его сил. Дух этих свиданий прекрасно передала в своих воспоминаниях о Блоке его двоюродная сестра и племянница Александра Львовича С.Н. Тутолмина. «Помню, — рассказывала она, — как Саша... встречался у нас со своим отцом. Отец любил его, расспрашивал об университетских делах, и они подолгу просиживали рядом за столом. Саша, прямой, спокойный, несколько “навытяжку”, отвечал немногословно, выговаривая отчетливо все буквы, немного выдвигая нижнюю губу и подбородок. Отец сидел сторбившись, нервно перебирая часовую цепочку или постукивая по столу длинными желтыми ногтями. Его замечательные черные глаза смотрели из-под густых бровей куда-то в сторону. Иногда он горячился, но голоса никогда не повышал» [1. Т. 1. С. 93].

Понимал ли Блок, что творилось в те часы в душе отца? Осознавал ли истинный драматизм его положения? Ощущал ли его страдания, которые, к примеру,

хорошо ощущала та же С.Н. Тутолмина, вспоминая: «По вечерам у него (Александра Львовича. — В.С.) бывали длинные и грустные разговоры с бабушкой, после которых бабушка всегда плакала» [1. Т. 1. С. 91]? На все эти вопросы необходимо ответить категорическим «нет». Для поэта регулярные свидания с отцом, как, впрочем, и переписка с ним, были чем-то вроде отбывания наказания, утомительной службой, исполнением тягостного долга (Александр Львович пунктуально высылал деньги на его содержание), не более. Внутреннего импульса для контактов с отцом он не испытывал, твердо воспринимая его как вполне чужого себе человека. Так, 25 января 1908 года поэт сообщал матери: «На днях было письмо от Ал. Львовича — декадентское; с какой-то иронией, как всегда, немного жалкое, запутанное, предлагает, насколько можно понять, денег и обещает приехать на Пасхе. Просит возобновить сношения. Мне еще трудно ответить ему — все не соберусь» [11. С. 191].

Характеристика отцовского письма абсолютно верная, но каков тон комментария! Какое высокомерие и холодность! Ни грамма жалости и сочувствия к поверженному в прах, раздавленному жизнью человеку, уже неизлечимо больному, жить которому осталось менее двух лет. Положим, Блок пока об этом не знал, понять причины его отстраненного отношения к отцу еще можно, но извинить судейскую объективность интонации процитированных строк трудно, очень трудно. Ведь тон этот принадлежит не руководствующемуся житейской моралью примитивному человеку, а большому лирическому поэту, умеющему читать в сердцах...

Что бы там ни было, однако А.Л. Блок в Петербург на Пасху приезжал, с сыном встречался. 17 апреля 1908 года, делаясь с матерью впечатлениями о встрече, Блок восклицал: «Господи, как с ним скучно и ничего нет общего» [11. С. 205].

Пройдет совсем немного времени, потребуются встречи с людьми непредубежденными и даже наоборот — любившими и ценившими Александра Львовича, и пелена бекетовского восприятия отца, почти два десятилетия застилавшая зрение А. Блока, рассеется, и он «найдет» его «очень интересным, цельным и даже сильным человеком» [11. С. 293]. И кто знает, может быть, в траурные дни в сознание поэта закралось сожаление, что он не только не распознал, но даже отверг самую крупную личность из числа людей, входивших в его родственное окружение. Именно в отце поэт различит черты столь близкого ему по духу трагического человека и посвятит ему в своей «Автобиографии» самые проникновенные строки: «Отец мой, Александр Львович Блок, был профессором Варшавского университета по кафедре государственного права; он скончался 1 декабря 1909 года. Специальная ученость далеко не исчерпывает его деятельности, равно как и его стремлений, может быть менее научных, чем художественных. Судьба его исполнена сложных противоречий, довольно необычна и мрачна. За всю жизнь свою он напечатал лишь две небольшие книги (не считая литографированных лекций) и последние двадцать лет трудился над сочинением, посвященным классификации наук. Выдающийся музыкант, знаток изящной литературы и тонкий стилист, — отец мой считал себя учеником Флобера. Последнее и было главной причиной того, что он написал так мало и не завершил главного труда жизни: свои непрестанно развивавшиеся идеи он не сумел вместить в те сжатые формы, которых искал; в этом искании сжатых форм было что-то судорожное и страшное, как во

всем душевном и физическом облике его. Я встречался с ним мало, но помню его кровно» [5. Т. 7. С. 12]. Если же учесть, что концептуальным и сюжетным центром поэмы «Возмездие» во многих отношениях является образ А.Л. Блока (ее первоначальными заглавиями были «Отец» и «Варшавская поэма») и что задумана она была, скорее всего, в дни его похорон, то необходимо признать: отец отвоевал в сердце поэта большой угол. Настолько большой, что за несколько месяцев до своей смерти в речи «О назначении поэта» Блок, по сути дела, повторил крылатую фразу «Возмездия» об отце и сыне: «...столь чуждые во всех путях / (Быть может, кроме самых тайных)» [5. Т. 3. С. 336], придав ей разве что бóльшую весомость и определенность: «Сын может быть не похож на отца ни в чем, кроме одной тайной черты; но она-то и делает похожими отца и сына» [5. Т. 6. С. 161].

Несмотря на то, что Александр Львович «очень любил родственников и любовь эта была, по-видимому, какая-то принципиальная» [7. С. 175], он, скорее всего, тяготился чиновничьей атмосферой, царившей в родительском доме. Не случайно еще в студенческие годы будущий отец Блока уходил из семьи и, поселившись в меблированных комнатах, содержал себя уроками. Видимо, по той же причине единственный из своих многочисленных сородичей Александр Львович избрал для себя научную стезю, однако и карьера чисто академического исследователя, по всей вероятности, далеко не удовлетворяла его. По воспоминаниям профессора государственного права Донского университета И.И. Коломийцева, слушавшего лекции А.Л. Блока в последние годы его жизни, читаемый им курс только формально можно было назвать государственным правом, ибо лектор обильно оснащал его сведениями по философии, этике, искусству. Эрудиция ученого перехлестывала через край, потому что академическая узость претила ему. Он хотел добиться научного универсализма, небывалого еще в науке, синтеза абсолютно всех или, по крайней мере, многих дисциплин. В этой связи отнюдь не представляется чудачеством занявшая два десятилетия жизни очень русская в своем существе попытка отца Блока создать универсальную «классификацию наук», названную им «Политика в кругу наук». Внешним толчком, побудившим Александра Львовича к созданию этого труда, оказалось распространенное в 70-е годы XIX века общественное убеждение в превосходстве естественного знания над гуманитарным, однако по внутренней сути это любимое и трагически не удавшееся варшавскому профессору детище претендовало на создание высшего философского учения, способного объединить в еще небывалую целостность разрозненные и часто противостоящие друг другу результаты научных открытий и тех наук, в недрах которых они были получены.

Замысел подобной работы был вполне утопичным и потому, разумеется, не мог быть реализованным. Тем не менее он прекрасно говорит о масштабе личности А.Л. Блока, не удовлетворявшегося, как это нередко бывает распространено в ученом мире, осуществлением частных задач. Не боясь повторить уже сказанное ранее, заметим: его снедала жажда целостности, рационализм как метод мышления, очень характерный для западного типа сознания, был ему вполне чужд и, скорее всего, враждебен. Даже предельно напряженное искание автором «Политики в кругу наук» особого стиля для воплощения выстраданных идей (А. Блок определил бы его как «музыкальный») было обусловлено все той же

страстью исследователя. Трудно не заметить, что религиозно-философские и эстетические искания русского символизма в целом и А. Блока, в частности, вскормлены подобной же жаждой. И впрямь: «Сыны отражены в отцах...!» Когда поэт познакомился с личностью и идеями отца в изложении Е.В. Спекторского, он написал ему следующее: «Читаю Вашу прекрасную книгу об отце и имею потребность горячо пожать Вам руку и в качестве просто читателя, *далеко не чуждого* идеям и стилю книги, и в качестве сына А.Л., кровно связанного с его наследием, более, пожалуй, чем Вы это можете предполагать» [3. С. 306].

До чтения брошюры Е.В. Спекторского вряд ли это «предполагал» и сам Блок. Причем в данном случае важно подчеркнуть мысль поэта о его кровной связи именно с научным наследием отца, т.е. не об обычном физиологическом, а о духовном их родстве. Напряженно работая над поэмой «Возмездие», Блок уже размышлял над этой проблемой, знакомство же с указанным исследованием предоставило ему богатый материал для более глубокого формирования ее художественной концепции.

Разумеется, сына интересовали в первую очередь не столько конкретные научные изыскания отца (об этом, кстати, говорят его карандашные пометки в брошюре Спекторского), сколько философские идеи А.Л. Блока, в которых ярко запечатлелась его мятущаяся личность, глубоко чуждая позитивистским верованиям века. Давая характеристику этому времени, Спекторский писал: «...в эту эпоху окончательно ликвидировались гегельянство и вообще спекулятивный идеализм немецкого происхождения. Вытеснял его позитивизм и реализм с более или менее резко выраженным материалистическим оттенком. Исчезла вера в то, что мысль и бытие равны друг другу и даже тождественны. Вместо умопостигаемого мира понятий и идей, стройно согласованных друг с другом и не допускающих иного столкновения, иной борьбы, кроме “диалектической”, происходящей в сфере абсолютного духа, стали видеть и признавать только мир действительности, во всем его будто бы “наивном”... но в сущности полном глубокого драматизма реализме». Позитивистское мышление, продолжал далее любимый ученик А.Л. Блока, сделало возможным, что «вера в дух, вера в идею более или менее быстро вытеснялась верою в материю. А промежуточное состояние сомнения и иронии надолго сохранялось только у немногих натур, настолько тонко организованных, чтобы не принимать за настоящую умственную эмансипацию того, что в действительности было только переходом от одного вида духовного рабства к другому».

По тону сказанного понятно, что отец Блока относился именно к этим «избранным натурам», не впадшим в «духовное рабство» к позитивистской идеологии. (Это место брошюры Спекторского, кстати, подверглось значительным карандашным подчеркиваниям А. Блока.) Однако положение человека, живущего в эпоху доминирования позитивистского типа мышления и торжества позитивистских ценностей, делал вывод Е.В. Спекторский, нельзя счесть благополучным. Скорее всего, он может быть уподоблен одинокому человеку, идущему по узкому перешейку, по краям которого зияют пропасти одна опаснее другой. А.Л. Блок напоминал именно такого человека. Идеиная позиция, избранная им в науке, делала его жизнь исполненной драматизма, что, в свою очередь, накладывало

глубокий отпечаток и на ее бытовые проявления. «А.Л. Блок, — признавал его биограф, — был семидесятником (т.е., заметим в скобках, был вынужден играть по правилам позитивизма. — *В.С.*), но не торжествующим и самоуверенным, а меланхолическим и сомневающимся, не нашедшим, а все ищущим...» По свидетельству все того же Спекторского, отец Блока в науке и личной жизни представлял как человек долга, не в пример многим людям часто «задумывался над серьезностью своего жизненного назначения...» Однако логика истины, которой следовал он на всех своих путях, в том числе и научных, признавал биограф, «беспощадно разбивала логику добра и логику красоты и на каждом шагу заявляла свои печальные права». Его союзницей в обретении истины часто выступала ирония, однако и в этом случае, считал Спекторский, все обстояло с Александром Львовичем не просто. «Ирония властно толкала его мысль на путь критики всякого рода иллюзий и притом критики, дающей отрицательные более или менее безобразные плоды, рассеивающие воздушные замки, и ничего не оставляющей кроме действительности во всей ее печальной наготе. Но вместе с тем она сопровождалась какой-то грустью, какой-то тоской по иллюзии, каким-то желанием все-таки не расстаться окончательно с мечтою и верить в нее. Благодаря этому Ал. Льв. был одновременно и реалистом и идеалистом» [13. С. 8, 12].

Блестящая мысль, многое объясняющая и в научной, и в личной судьбе отца Блока!

Он жаждал истины, в своем аналитическом порыве все же руководствуясь, что бы на этот счет ни говорилось, господствующей в ту эпоху позитивистской системой ценностей. Беспощадный анализ, сдобренный к тому же изрядной долей иронии, разрушал возведенные идеалистической мыслью и веками казавшиеся незыблемыми «воздушные замки» добра и красоты. Последовательный позитивист на вопрос: «С чем он предпочтет остаться — с действительностью, понимаемой сугубо материалистически как истиной в последней инстанции, или красотой?» — должен был ответить, не испытывая никаких сомнений в правильности своей позиции: с истиной. Его мозг не могла озарить внезапная догадка, что, отказываясь от эфемерной будто бы системы идеалистических ценностей в пользу ценностей реальных с уклоном в сугубо материалистическую трактовку этих понятий, он попадал в положение пушкинской старухи, поменявшей блеск и роскошь царского двора на разбитое корыто.

Блок А.Л. последовательным позитивистом не был. Тяготел к реальному, он, как позже и его сын, томился по реальнейшему. Спекторский Е.В. совершенно справедливо отмечал, что его университетский наставник «задышался в холодной, разреженной атмосфере чисто правовых понятий». Блоку настолько запомнится этот образ, что много лет спустя, несколько его трансформировав, он воспользуется им при характеристике трагедии Пушкина и своей собственной драмы в речи «О назначении поэта». Не случайно отец поэта часто уходил от суровой действительности в мир поэтических и музыкальных грез. «Я могу засвидетельствовать, — вспоминала М.А. Бекетова, — что он играл, как никто, может быть, гениально?...» [4. С. 522—523]. Однако драматические изломы его характера, сказывавшиеся и на его ученых занятиях, и в интимной жизни, находили выход и в его музыкальных импровизациях. «Только раз мне пришлось слышать его игру на рояле, —

свидетельствовал племянник Александра Львовича. — Он играл с необыкновенной, порхающей легкостью, но удар — как и голос его — был деревянный, чужой, нечеловеческий» [7. С. 176].

Пафос творческих устремлений А.Л. Блока несомненно был связан с характерным для него тяготением к постижению цельности жизни. Об этом говорит хотя бы эволюция его научных предпочтений: от магистерской диссертации «Государственная власть в европейском обществе. Взгляд на политическую теорию Лоренца Штейна и на французские политические порядки» (1880) через книгу «Политическая литература в России и о России. Вступление в курс русского государственного права» (1884) он шел к уже упоминавшемуся незаконченному труду «Политика в кругу наук».

Если первая работа пронизана радикальной тенденцией (радикализм, как и либерализм, по позднейшим представлениям варшавского профессора, — слишком узкие и по этой причине односторонние политико-экономические, социальные и научные доктрины), то во второй книге он стремился синтезировать славянофильскую и западническую концепции, указывая на их односторонность в понимании русского национального духа. Надеясь ее преодолеть, ученый рассчитывал выработать свою собственную, более универсальную концепцию того духовно-мировоззренческого феномена, который принято называть русской идеей, и на его основе предугадать грядущее величие России. Что же касается универсализма блоковского подхода к «классификации наук», то об этом уже говорилось ранее.

Работы подобного типа даже с учетом их высокого научного потенциала нельзя однозначно оценивать как чисто академические. Таковыми, очевидно, не считал их и сам исследователь. Более того, несмотря на позитивистские тенденции, характерные для его аналитического мышления, они не вполне укладываются и в прокрустово ложе чистого позитивизма, поскольку ставят задачи не узкопрактического и узкотеретического, а так сказать, провидческого характера. Государствовед А.Л. Блок не ограничивал свои притязания только целью создания замкнутой в себе пусть и оригинальной концепции, а стремился, говоря метафорическим языком, разомкнуть ее в жизнь. Заветным его желанием было то, что младосимволисты определили позднее формулой «творчество жизни».

Причем необходимо помнить, что речь у отца Блока шла о творчестве не какой-то абстрактной жизни, а жизни России, которую он любил и понимал. Всякий, кто даст себе труд познакомиться с принадлежащей ему блестящей характеристикой героев русского национального эпоса в сопоставлении с персонажами эпоса западноевропейского, несомненно с нами согласится. Былинные богатыри, пронизательно отмечал он, олицетворяют в себе силу не только физическую, но и нравственную. Этическая составляющая в поведении героев русских былин, нравственная мотивация их поступков обуславливает, по А.Л. Блоку, главное отличие героического эпоса России от эпоса Запада. «Последние, — развивал он свою мысль, — едва ли даже не превышают по своему общественному значению все “благородные” или просто “эффектные” поступки наиболее блестящих западных “героев”, — начиная хоть с “неистового Роланда” и кончая позднейшими “рыцарями без страха и упрека”, прославленными за непроизводительное

служение “Богу и даме”. Знаменитый Илья Муромец, у которого “сила-то по жилочкам так живчиком и переливается”, которому “грузно от силушки, как от тяжкого бремени”, — является не простым искателем приключений и личных успехов или самоотверженным блюстителем каких-нибудь королевских интересов, вроде германского Зигфрида. И он, и многие другие богатыри, эти герои русского народного эпоса, отчасти ради собственной “потехи молодецкой” совершают разные общепользные дела..., отчасти же по доброй охоте, сами по себе и каждый по-своему “страдают за русскую землю”, причем кланяются “на все четыре стороны” и держатся вообще очень независимо, даже по отношению к “ласкову князю Владимиру”. Таковы были *идеалы* общества и в ту позднейшую эпоху, к которой относится происхождение былин; таковыми остаются они отчасти и в наше время». Цитату можно было и продолжить, но и без того ясно, что этот пример потребовался А.Л. Блоку для того, чтобы у читателя его книги выработалось представление о глубокой самобытности русского национального духа. Этот национальный дух, «идею России» он хотел запечатлеть и выразить в слове (отсюда и его мучительные стилевые поиски), довести ее словесное выражение до уровня некоей формулы, своеобразной духовной монады, не способной на дальнейшую дифференциацию, придать ей значение закона, даже — аксиомы, выверенной с помощью научной методологии. «Широкая и глубокая *идея России*, — утверждал профессор Варшавского университета, — столь часто воплощавшаяся в разных изящных искусствах, должна воплотиться, наконец, и в труднейшем из искусств — в искусстве отвлеченного мышления вообще, а в частности, и в мышлении научно-политическом, может быть, наиболее из всех трудном: я не о внешних только трудностях говорю» [6. С. 41, 100].

Итак, первая стадия воплощения «идеи России», по А.Л. Блоку, — ее воплощение в слове. Упоминаемые им внутренние трудности связаны, как можно предположить, не только с языковым ее оформлением, но и с выработкой наиболее адекватных, соответствующих ее духу идей, не замутненных неосознанными ошибками как искренних ее сторонников, так и вполне обдуманном ее искажением в идеологии и деятельности ее открытых и замаскированных противников. Последнее, т.е. борьбу с оппонентами, он числил по штату внешних трудностей. В этом отношении у автора статьи есть серьезное подозрение, что нелюбовь университетского начальства к его персоне была вызвана отнюдь не радикализмом позиции, занятой им в магистерской диссертации, как считают некоторые мемуаристы, а крайне правым консерватизмом его убеждений, которых он ни от кого не скрывал и которые — по-видимому безуспешно — не раз высказывал в письмах к сыну.

Вторая ступень этого процесса — для А.Л. Блока, вероятно, наиболее ответственная и важная — воплощение уже осмысленной, выраженной в строго научных формулах и сверенной с национальной традицией «идеи России» в действительность. Жизнь современной ему России во всех ее проявлениях должна была, по замыслу отца поэта, войти, так сказать, в соответствующее русскому национальному духу русло. Если не содержание, то цель и название актовой речи А.Л. Блока «Об отношении научно-философских теорий к практической государственной деятельности», опубликованной в 1888 году в «Варшавских универ-

ситетских известиях» с большими цензурными купюрами, были одушевлены в значительной степени именно этой идеей.

«Слово плоть бысть», слово должно стать плотью — это девиз всей жизни А.Л. Блока-ученого; иной науки он не признавал. Может быть, даже его желание избраться в Государственную думу, поддержанное консервативными кругами Варшавы, было вызвано не только его личными и политическими амбициями, но и стремлением оказывать непосредственное и практическое влияние на политическую жизнь России.

Нетрудно догадаться, какое потрясение испытал Блок-сын, когда узнал все это о своем отце — том самом нелюдимом, колючем, казавшемся ему совершенно чужим человеке, понуждавшем его испытывать муку мученическую обязательных свиданий, более похожих на экзамен, чем на радостную встречу двух близких людей, вымороченность обязательной переписки с выражением почтительной благодарности за присланные деньги, каторгу обязательных посещений родственников по отцовской линии, которых, если правду сказать, он и в числе своих родственников не числил. Выходило, что за деревьями он не разглядел леса, раздражался и дичился по пустякам, а тем самым раздражал и отца, мешая ему, и без того чувствовавшему и осознававшему странность и искусственность своего положения, находить верный тон в общении с сыном, попадать, что называется, в нужную колею. В письмах к сыну он прятал это ставшее привычным для него ощущение откровенной двусмысленности своего положения в густые заросли словесной иронии, слог его становился напыщенным, а временами и вовсе тонул в бесконечных цитатах, стишках на случай, *postskriptum*'ах, сносках, сносках к сноскам и т.д. Когда читаешь эти письма, не можешь отделаться от мысли, что перед тобой вовсе не профессор государственного права Варшавского университета и гроза студентов (особенно поляков), а кто-то из героев Достоевского, может быть даже Макара Деушкин или Мармеладов с его пронзительным воплем: «Понимаете ли, понимаете ли вы, милостивый государь, что значит, когда уже некуда больше идти?» Догадка покажется не такой уж неправдоподобной, когда услышишь нечто похожее из уст А.Л. Блока. В письме к А.А. Блок от 11 августа 1888 года, приглашая свою жену с сыном приехать погостить к нему в Варшаву и все еще подсознательно надеясь на благополучное урегулирование отношений с нею, он вдруг обнажает свою душу перед ушедшим от него человеком с обезоруживающей простотой и искренностью: «Завидую ему (сыну. — *В.С.*) и Вам, потому что мне не на ком вообще “сосредоточиться” (а на своих мыслях вредно), не с кем даже говорить по “по душе”, — давно уж и “побранить меня некому”, вообще скверно...» [2. С. 281]. Такие письма без нужды не пишут, а если и пишут, то нужда действительно становится нуждой, подступает, как нож к горлу. Вот уже истинно: «некуда больше идти!» В науке — полное одиночество, ибо устремления его простирались за ее пределы (в том числе пределы, государством не поощряемые), в личной жизни — тоже, поскольку разбитого по собственной воле (уяснить мотивы этой воли трудно и себе самому!) уже не вернуть.

Нельзя сказать, что после смерти отец стал ближе Блоку, — он стал понятнее. Впервые за тридцать лет поэт вдруг посмотрел на него без шор, так долго закрывавших его зрение, и состоялось второе открытие казалось бы давно знакомого

ему и не интересного для него человека. Обнаружилось родство там и в том, где и в чем он и не чаял его обнаружить.

Что их сблизало? Трагическое одиночество? Разбитая с собственного ведома и не без собственного участия личная жизнь?

Мотивы, обусловившие драму отношений поэта с Л.Д. Блок, были иными, чем у отца, однако свою полуодинокую жизнь он переживал не менее остро. Рвал отношения со вчерашними союзниками и друзьями ради возможного и — главное — столь необходимого для него «союза с позитивистами», но позитивистом, как когда-то и его отец, он так и не стал, всю жизнь тоскуя по утраченной иллюзии (иллюзии ли только?) «первой любви» и укоряя себя за измену ей. Мистика вечной женственности одухотворяла его поэтический идеал до самой его могилы. Иными словами, старший и младший Блоки принадлежали к одному и тому же психологическому типу людей — вечных странников духа. Недовольные устройством современной им жизни, они мечтали «выйти в мир» жизни новой, воспринимая свою творческую деятельность не как самоцель, а как своего рода орудие для ее пересоздания. К 1909—1911 годам, когда А. Блок вплотную познакомился с научными идеями своего отца, он уже не раз поднимал вопрос о пользе искусства, о долге художника перед обществом и, видимо, был поражен сходством собственной эстетической позиции с точкой зрения А.Л. Блока на проблему общественного долга ученого [1].

В свою очередь, Александр Львович, внимательно следивший из своего варшавского далека за творчеством сына, с злой иронией встретивший его первую книгу, особенно выделял и любил его стихи о России. Как отмечал Г.П. Блок, «ему казалось, что они знаменовали перелом» [7. С. 177] в лирике поэта, что он, наконец, вступил на твердую дорогу. В «теме о России» сын и отец встретились. Если бы он знал, что так же считал и сам Блок, это стало бы большим утешением для стареющего и одинокого человека.

Но — и только. А вообще-то говоря, утешаться было нечем. Жизнь медленно, но верно шла под уклон. Гордый красавец с байронической наружностью, изощренными истязаниями доведший двух своих жен до панического бегства, тускнел на глазах.

«Когда он — впервые на моей памяти — появился у нас, то оказалось, что наружность у него совсем не такая величаво-инфернальная, как я себе представлял. Он был не очень высок, узок в плечах, сгорблен, с жидкими волосами и жидкой бородой, заикался, а главное — чего я никак не ожидал — он был робок... Садился в темный уголок, не любил встречаться с посторонними, за столом все больше молчал, а если вставлял словечко, то сразу потом начинал смеяться застенчивым, неестественным, невеселым смехом» [7. С. 174].

Предположим, что этот эпизод из воспоминаний Г.П. Блока был подчинен реализации определенной литературной задачи: автор во что бы то ни стало стремился обозначить контраст между былым и нынешним обликами Александра Львовича. Однако и в других мемуарных источниках, создатели которых не преследовали данной цели и менее, чем Г.П. Блок, были осведомлены в приемах композиционной организации текста, портрет отца Блока оказывался нарисованным будничными красками. Причем и в первом и во втором случаях мемуа-

ристы не отказывали в сочувствии к этому человеку. Просто реальность ситуации не допускала хотя бы ничтожной доли приукрашивания.

Вернемся, однако, к свидетельству Г.П. Блока.

«Я был у него в его варшавской квартире, — вспоминал племянник Александра Львовича. — Он сидел на клеенчатом диване за столом. Посоветовал мне не снимать пальто, потому что холодно. Он никогда не топил печей. Не держал постоянной прислуги, а временами нанимал поденщицу, которую называл “служанкой”. Столовался в плохих “цукернях”. Дома только чай пил.<...>

Он был неопрятен (я ни у кого не видал таких грязных и рваных манжет), но за умываньем... проводил так много времени, что поставил даже в ванной комнате кресло:

— Я вымою руки, потом посижу и подумаю.

Однажды, вернувшись откуда-то, он нашел свою квартиру запертой. Эту ночь он проспал на одной из скамеек Иерусалимской аллеи.

Деньги прятал в нотах.

В его квартире все вещи оставались до самой его смерти в том точно виде и на тех самых местах, как они были в день ухода его второй жены. Он сам рассказывал, что по вечерам он часами сидел, не сводя глаз с пустой кровати дочери» [7. С. 175—176].

Здесь все правда. К воспоминаниям Г.П. Блока, посетившего своего дядю лишь однажды, остается разве что добавить свидетельства лиц, живших с Александром Львовичем бок о бок в самые трудные последние годы его жизни. Так, в памяти сочувствовавшего ему профессора Варшавского университета Е.А. Боброва осталась «крайне жалкая одежда, в которую облакался мыслитель. Вечный черный сюртук и черные брюки насчитывали... не один десяток лет существования. Все на нем было вытерто, засалено, перештопано». Бобров Е.А. вспоминал, что в Варшаве у Александра Львовича было несколько дружественных семейств, в которых его подкармливали, и тут же некоторые особо сердобольные женщины собственноручно штопали его знаменитый сюртук. «Белье на нем всегда было не свежее, так, что воротнички были уже совсем серые, обтрепанные по краям, — делилась своими впечатлениями об отце Блока Е.С. Герцог. — Запонки на рубашке всегда отсутствовали, и надето бывало на нем по две и даже по три рубашки. Вероятно, он надевал более чистую на более грязную или зимой ему было холодно. Ко всему этому мы относились не с порицанием или с насмешкой, а с сожалением, так как видели в нем человека с надорванной душой...» [2. С. 300, 303].

Уже заканчивая свои воспоминания, Е.С. Герцог припомнила один эпизод, являющийся, как она выразилась, «иллюстрацией того, что родственное и даже нежное чувство к детям жило в этом непонятном человеке». «Однажды, — рассказывала она, — А.Л. пришел к нам какой-то торжественный, праздничный. Глаза его мягко светились. Он сказал нам, смущенно и радостно улыбаясь:

— А я — дедушка! У сына ребенок родился. Значит, мой род не погибнет...

И он улыбался, счастливый, когда мы его поздравляли. Вероятно, он любил детей. Я помню, как потом, когда подросла моя племянница, было странно и необычно видеть, как этот человек науки, не от мира сего, целовал ручку девочки, сажал к себе на колени, что-то с ней говорил...

Ведь все эти гаммы семейной жизни были им почему-то добровольно оборваны, и, раб науки, а может быть, своей злой воли, разрушившей его семейный очаг, он жил одиноко, неуютно, заброшенно. Почему?» [2. С. 307].

И впрямь — почему? Почему неизменно плакала после длинных и грустных разговоров с ним по вечерам его мать? Почему в письмах к нему в Варшаву, на которые он, естественно, и не отвечал никогда, его родственники, сообщая ему о редких встречах с его сыном, были столь предупредительны и милосердны к нему? Почему, скопив не менее 80 тысяч рублей, как говорили знавшие его люди, он морил себя голодом, вогнав себя, наконец, в злую чахотку? Почему он, по всей видимости, не осознавал странности и даже двусмысленности своего положения, обедая у чужих людей, охотно позволяя жалеющим его женщинам штопать его сюртук и принимал от них поздравления в связи с рождением внука даже не будучи посвященным в тайну появления на свет этого несчастного мальчика? О чем он часами думал, просиживая у пустой кровати своей дочери, хотя и знал, как вредно человеку сосредоточиваться на своих мыслях?

Может быть, как Печорин накануне дуэли с Грушницким, оглядывая мысленным взором прошедшую жизнь, он спрашивал себя: «...зачем я жил? для какой цели я родился?... А, верно, она существовала, и, верно, было мне назначение высокое... Но я не угадал этого назначения <...> Моя любовь никому не принесла счастья, потому что я ничем не жертвовал для тех, кого любил: я любил для себя <...>

И, может быть, я завтра умру!.. и не останется на земле ни одного существа, которое бы поняло меня совершенно. Одни почитают меня хуже, другие лучше, чем я в самом деле... Одни скажут: он был добрый малый, другие — мерзавец. И то и другое будет ложно» [10. Т. 4. С. 110—111].

Но стоит ли так переусложнять и демонизировать А.Л. Блока? «Человек с надорванной душой», — вот и все, что можно о нем сказать. Правда, в своем научном творчестве он обозначил важнейшие для духовного самоопределения России проблемы, что дало основание крупному отечественному историку Н.И. Карееву даже усмотреть в его книге «Политическая литература в России и о России» «черты именно *русской науки*», «своего рода *философию русской истории*...» [9. С. 100—135]. Однако свои грандиозные планы и идеи профессору Блоку реализовать не удалось, что, в свою очередь, сильно подорвало его физическое и психическое здоровье.

Но кто сказал, что именно автор пытается демонизировать А.Л. Блока? Стремление это принадлежит вовсе не автору, а его сыну. Откликаясь на слова Е.В. Спекторского, что его брошюра об учителе представляет собой не только «историю одной ученой жизни, но также до известной степени ее *апологию*», Блок в письме к нему от 12 декабря 1911 года сообщал: «Надеюсь, что мне удастся представить на Ваш суд и мою “тень отца” и другую ее “апологию”, которая, увы, покажется кому-нибудь осуждением (без этого не обойтись), но будет для меня апологией, хотя и другого типа, чем Ваша, — “музыкальной” и, так сказать, “от противного”» [3. С. 306].

К этому времени «Варшавская поэма» была уже написана, концепция отцовской судьбы в основных чертах уже сложилась. Однако «Возмездие», по сути,

только еще начиналось, Блок продолжал размышлять и над ее общим планом, и углубляться в драму отца. В его дневнике под датой 3 декабря 1911 года появляется запись о том, что «план» поэмы «выясняется» и что две ее части (первая и третья) из четырех будут посвящены отцу.

В этой связи внимание читателей способны привлечь к себе два момента. Семейное предание о характеристике, данной Достоевским Александру Львовичу, пришлось как нельзя кстати, если даже знаменитый писатель ничего подобного не говорил. Определение отца как «демона» дало Блоку ключ к постижению духовной сути его личности и причин пережитой им мучительной драмы. И впрямь, понятия «демон» и «демоническое», положенные поэтом в основу художественной концепции произведения, сыграли роль поэтической доминанты в той самой «музыкальной» апологии отца, о которой он писал Спекторскому. И — второе. В представленном плане намечена линия судьбы, связывающая отца и сына: «смерть отца» — «гибель сына». В дальнейшем эта сюжетно-смысловая линия получит в «Возмездии» и в новых планах поэмы определенное развитие, но, будучи означенной лишь в самых общих чертах, так и останется художественно нереализованной.

Какая идея была положена Блоком в фундамент сюжетного мотива «отец — сын»?

Автору уже не раз приходилось говорить о том, что только после смерти отца поэт обнаружил свое «тайное» родство с ним; отмечал также и точки их духовной близости. Кроме одной. Между тем, она-то, по Блоку, и была главной. Дело в том, что в отце он узнал... самого себя — человека индивидуалистической культуры, с которой (в собственном творчестве и в идеологии русского символизма) он повел борьбу за несколько лет до этой важной вехи своей жизни.

Преломляя биографические факты, Блок выделяет и подчеркивает в образе отца черты демонического индивидуализма («...молодой мрачный (байронист) — предвестие индивидуализма...» [3. Т. 3. С. 463]), разрушающего патриархальный быт семьи деда. Но это демонизм, трактованный не по Байрону, а по Лермонтову:

<...> Потомок поздний поколений,
В которых жил мятежный пыл
Нечеловеческих стремлений, —
На Байрона он походил,
Как брат болезненный на брата
Здорового порой похож:
Тот самый отсвет красноватый,
И выраженье власти то ж,
И то же порыванье к бездне.
Но — тайно околдован дух
Усталым холодом болезни,
И пламень действенный потух,
И воли бешеной усилья
Отягчены сознанием <...> [5. Т. 3. С. 322].

«То — ум холодный, ум жестокий / Вступил в нежданные права...» [5. Т. 3. С. 325] — «душа больная» отца поражена рефлексией.

Свобода, право, идеал —
Все было для него не шуткой,
Ему лишь было втайне жутко:
Он, утверждая, отрицал
И утверждал он, отрицая.
(Все б — в крайностях бродить уму,
А середина золотая
Все не давалась ему!) [5. Т. 3. С. 323].

Огромная тяга к идеалу («...вдруг возникал... / Какой-то образ — грустный, дальный, / Непостижимый никогда...») — и неумение претворить его в жизнь — вот слагаемые образа блоковского героя. И впрямь: дух его «околдован», подобно России, подобно семье, в которую ворвался он разрушительной кометой. Активность действий этого новоявленного Байрона изначально парализована; сопоставляя отца с английским гением, Блок подчеркивает разницу между ними: «Пожалуй, не было, к несчастью, / В нем только *воли* этой...» [5. Т. 3. С. 324, 321], вследствие чего жар его мятежной души оказался растроченным напрасно. В предисловии к поэме, написанном в 1919 году, Блок объяснил паралич воли у отца, этой «первой ласточки “индивидуализма”», «болезнью века, начинающимся *findesiècle*» [5. Т. 3. С. 298].

Если в душе человека угасло стремление к действию, его неотвратимо ждет возмездие. Поэт имеет в виду тот самый «мировой водоворот», засасывающий «в свою воронку» всего человека без остатка, о котором он говорил в предисловии к поэме. «Но семя брошено...»: от индивидуалиста отца родился «будущий индивидуалист» [5. Т. 3. С. 463] — сын.

Блок не завершил второй главы, история сына не написана. Однако по сохранившимся планам поэмы можно восстановить его историю. Подобно отцу будущи индивидуалистом, «он ко всему относился как поэт, был мистиком, в окружающей тревоге видел предвестие конца мира. Все разрастающиеся события были для него только образами развертывающегося хаоса. Скоро волнение его нашло себе русло: он попал в общество людей, у которых не сходили с языка слова “революция”, “мятеж”, “анархия”, “безумие”.<...> Герой... с головой ушел в эту сумасшедшую игру, в то неопределенно-бурное мирозерцание, которое смеялось над всем, полагая, что все понимает» [5. Т. 3. С. 460].

Блок трезво и сурово судит свое прошлое, в третьей главе показывая печальный итог судьбы мятежника-сына. Его «бесцельное» скитанье по промерзшим переулкам Варшавы («Там тьма и вьюги завыванье...», а «жизни нет») — проекция на всю его прошлую жизнь с ее «невыразимой тоской» и «холодной любовью» [5. Т. 3. С. 341, 344]. Не случайно образы этого раздела главы напоминают образы «Страшного мира»:

Уже ни чувств, ни мыслей нет,
В пустых зеницах нет сиянья,
Как будто сердце от скитанья
Состарилось на десять лет...<...>
Куда ж еще идти? Нет мочи
Бродить по городу всю ночь. —

Теперь уж некому помочь!
Теперь он — в самом сердце ночи!
О, черен взор твой, ночи тьма,
И сердце каменное глухо,
Без сожаленья и без слуха,
Как те ослепшие дома!.. [5. Т. 3. С. 341, 342]

Изнанка этого «бездорожья», генетически восходящего к образу «распутий» первой книги, — смерть. «...Неясные порывы, невоплощенные мысли, воля к подвигу», одушевлявшие ее страницы, — все закончилось полным крахом. В мае—июне 1921 года, перед самой своей смертью, Блок делает набросок финальной части третьей главы. Заключительные его строки: «Я не свершил того.... / Того, что должен был свершить» [5. Т. 3. С. 473], их пронзительная исповедальность чрезвычайно характерны и для судьбы героя и для автора поэмы.

Есть в этих словах жесткий и вместе с тем печальный приговор себе. Но Блок не был бы Блоком, если бы перестал верить в музыкальную природу мира. «Тайное» родство «мятежных страстей» двух отпрысков семьи — отца и сына, не нашедших исхода из мятежа и погибших, заключается, по Блоку, в том, что «они ... “демоничны”». Они жестоки и вызывающи. Они бросают перчатку судьбе. Они — едкая соль земли», и потому «они — предвестники лучшего». По концепции Блока, своим мятежным бунтом «разрывая» узкие рамки семьи, «губя своих» близких, отказываясь «от поверхностных радостей жизни», даже «опускаясь» («им нет выхода из собственного мятежа — ни в любви, ни в детях, ни в образовании новых семей»), они становятся предвестниками и проводниками истинной жизни, противоположной цивилизации и прогрессу, иными словами, они переводят ее в иной план — музыкальный и стихийный. В планах поэмы обозначена мысль: «Вся тоска (второго отпрыска рода. — В.С.) — только для встречи с “простой”», от которой им «зачат сын». «...Затерянная где-то в широких польских клеверных полях, никому не ведомая и сама ни о чем не ведающая», «она баюкает и кормит грудью сына, и сын растет; он... начинает повторять по складам вслед за матерью: “И я пойду навстречу солдатам... И я брошусь на их штыки... И за тебя, моя свобода, взойду на черный эшафот”» [5. Т. 3. С. 464, 465, 461, 299].

Младенец — пока бессознательно — открывает свое сердце подвигу «тех, с обреченными глазами», которые сделали все возможное, чтобы «грянул взрыв / С Екатеринина канала...» [5. Т. 3. С. 319, 327]. Круг замкнулся, в поэме провозглашено возмездие как роду, в болезненных отпрысках которого «пламень действенный потух», так и истории, давящей и уродующей личность. В ребенке зреет воля, которой лишены индивидуалисты отец и сын.

Автор поэмы — на страже этой воли, он лелеет и пестует в себе эту мужественную ноту. Художнику, говорит он в прологе, «дано бесстрастной мерой / Измерить все, что видишь...» Далее он обращается к нему с напутствием: «Твой взгляд — да будет тверд и ясен. / Сотри случайные черты — / И ты увидишь: мир прекрасен» [5. Т. 3. С. 301]. Последняя фраза приведенной цитаты перекликается с заключительным стихом всей поэмы: «<...> А мир — прекрасен, как всегда» [5. Т. 3. С. 344], образуя своего рода композиционное кольцо. Обнаружение смысла в бессмыс-

лице мира, обнажение его красоты подвластно только человеку, черпающему силы только в себе самом, опирающемуся только на свои собственные силы — такова позиция Блока, и не случайно Вяч. Иванов увидел в его поэме «разложение, распад, как результат богоотступничества...» [1. Т. 1. С. 340].

Тут, как говорится, «ни убавить, ни прибавить»: «трагическое мирозерцание», которое утверждал в своем творчестве и жизни поэт, не знает иного отношения к миру и человеку. В этой связи имеет смысл обратить внимание читателя на следующий весьма показательный факт: Блок демонизирует образ своего отца, часто совершенно не сообразуясь с биографическими реалиями его жизни. Для него оказывалась важнее собственная интерпретация этого образа в соответствии с присущими ему мировоззренческими установками, нежели фотографическая верность факту. Так, из воспоминаний Г.П. Блока мы узнаем: «“Демон” умер со словами:

— Прославим господа.

Бывший богоненавистник обрел в старческие годы то, на чем крепко стояла вся его семья, — строго-церковную, богомольную веру» [7. С. 177]. Автор же «Возмездия» утверждает иное. Хотя Блок знает, что цельность отца — лишь иллюзия, на самом же деле его «мучила... тоска», а «тайна Божья и гордыня / Боролись в алчущем уме», он, однако, по воле создателя поэмы умирает раздавленным жизнью, но не сломленным. Демон остается демоном до конца.

Не боясь повторения уже высказанной мысли, заметим: именно такая, а не какая-нибудь иная трактовка исхода отцовской судьбы устраивала Блока. Более того, если бы была предложена другая ее трактовка, это был бы уже не Блок. Поэма создавалась (с перерывами) более десяти лет, а приступил он к работе над ней на рубеже первого десятилетия своей активной творческой деятельности. Это была попытка воплотить в слове всю свою жизнь, начиная с впечатлений детских лет. «...Угль превращается в алмаз» [5. Т. 3. С. 303], — сказал Блок в прологе к поэме. Это слова поэта мятежного духа. Но это еще и слова страдающего и много страдавшего человека. Люди «трагического мирозерцания» таковыми не рождаются. Ими становятся. С детства, как Блок. Если «Возмездие» — биография, то биография трагической личности. В аналогичном ключе подан в поэме и образ отца. Блок разглядел в нем себя и мистическим чутьем прозрел в его жизни свою судьбу.

<...> Он знал иных мгновений
Незабываемую власть!
Недаром в скуку, смрад и страсть
Его души — какой-то гений
Печальный залетал порой;
И Шумана будили звуки
Его озлобленные руки,
Он ведал холод за спиной...
И, может быть, в преданьях темных
Его слепой души, впотьмах —
Хранилась память глаз огромных
И крыл, изломанных в горах...

В ком смутно брезжит память эта,
Тот странен и с людьми не схож:
Всю жизнь его — уже поэта
Священная объемлет дрожь,
Бывает глух, и слеп, и нем он,
В нем почивает некий бог,
Его опустошает Демон,
Над коим Врубель изнемог..
Его прозрения глубоки,
Но их глушит ночная тьма,
И в снах холодных и жестоких
Он видит «Горе от ума» [5. Т. 3. С. 339—340].

Это лирическое отступление о Блоке-отце. Но и о Блоке-сыне. В процитированных строках спрессована драма его души и выражена печаль его сердца.

ПРИМЕЧАНИЕ

- (1) Научная и мемуарная литература о взаимоотношениях отца и сына Блоков обширна. Сравнительно недавно она пополнилась книгой Сафроновой Е.В., Кравченко Е.С. «Александр Львович Блок: Биография ученого» (М.: Весь Мир, 2013. — 150 с.) и рядом статей, среди которых имеет смысл выделить работы Енишерлова В.П. «"Жизнь без начала и конца": За строками "Возмездия"» (Наше наследие. 2005. № 75/76. С. 55—83) и Галис А. «Восемнадцать дней Александра Блока в Варшаве» (Звезда. 1978. № 4. С. 187—201). Безусловно, они расширяют представление читателя о существе означенной темы. Тем не менее упомянутые исследователи практически на затрагивают важнейшую для нас мысль о том, что основой для «встречи» сына с отцом послужила центральная для каждого из них идея о «пользе», жизненности научного и художественного творчества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] Александр Блок в воспоминаниях современников: в 2 т. М.: Худ. лит., 1980.
[2] *Александр Блок*. Новые материалы и исследования // Лит. наследство. М.: Наука, 1980. Т. 92. Кн. 1. 565 с.
[3] *Александр Блок*. Новые материалы и исследования // Лит. наследство. М.: Наука, 1981. Т. 92. Кн. 2. 415 с.
[4] *Бекетова М.А.* Воспоминания об Александре Блоке. М.: Правда, 1990. 672 с.
[5] *Блок А.А.* Собр. соч.: в 8 т. М.; Л.: ГИХЛ, 1960—1963.
[6] *Блок А.Л.* Политическая литература в России и о России. Вступление в курс русского государственного права. Варшава, 1984.
[7] *Блок Г.П.* Герои «Возмездия» // Русский современник. Литературный художественный журнал, издаваемый при ближайшем участии: М. Горького, Евг. Замятина, А.Н. Тихонова, К. Чуковского, Абр. Эфроса. Л.; М., 1924. Кн. 3. С. 172—186.
[8] *Бондаренко В.В.* Вяземский. М.: Молодая гвардия, 2004. 678 с.
[9] *Кареев Н.И.* Мечта и правда о русской науке // Русская мысль. 1984. № 12. С. 100—135.
[10] *Лермонтов М.Ю.* Собр. соч.: в 4 т. М.: 1964—1965.
[11] Письма Александра Блока к родным. Л.: «Academia», 1927.
[12] Письма Александра Блока к родным. Л.: «Academia», 1932.
[13] *Спекторский Е.В.* Александр Львович Блок, государствовед и философ. Варшава, 1911.

© Сарычев В.А., 2018

История статьи:

Дата поступления в редакцию: 2 декабря 2017

Дата принятия к печати: 28 декабря 2017

Для цитирования:

Сарычев В.А. «...Помню его кровно» (А.Л. Блок в жизни и творческой судьбе А.А. Блока) // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Литературоведение. Журналистика. 2018. Т. 23. № 1. С. 7–28. DOI 10.22363/2312-9220-2018-23-1-7-28

Сведения об авторе:

Сарычев Владимир Александрович, доктор филологических наук, профессор, профессор института филологии, кафедры русского языка и литературы Липецкого государственного педагогического университета им. П.П. Семенова-Тян-Шанского. *Контактная информация:* e-mail: sarychev.yaroslav@yandex.ru

“REMEMBER HIM THROUGH THE BLOOD IN MY VEINS” (A.L. BLOK IN A.A. BLOK’S LIFE AND LITERARY CAREER)

V.A. Sarychev

Institute of Philology
Lipetsk State Pedagogical P. Semenov-Tyan-Shansky University
Lenina str., 42, Lipetsk, Russia, 398020

The article is devoted to the study of dramatic relationship between Blok and his father. Unlike the previous researchers who described the father’s role in the poet’s life as insignificant and negative, the author of this article claims that there were some covert spiritual bonds between the father and the son. To prove this statement the author provides the readers with a wide scope of material, including epistolary evidence (Blok’s letters describing his father), reminiscences of relatives, acquaintances, students of the Warsaw professor, notes with his bright scientific ideas. The author arrives at the conclusion that there was a deep affinity between the father and the son which served a conceptual basis for the poem “Retribution” at which the poet was working till the last days of his life.

Key words: A.A. Blok, “father’s shadow”, “covert affinity, yearning for illusions, pilgrims of spirit, demonic individualism, tragic view upon the world

REFERENCES

- [1] Aleksandr Blok v vospominaniyah sovremennikov: v 2 t. [Alexander Blok in memoirs of contemporaries: 2 volumes]. M., 1980.
- [2] Aleksandr Blok. Novye materialy i issledovaniya. Lit. Nasledstvo [New materials and researches. Literary Heritage]. M., 1980. T. 92. Kn. 1. 565 s.
- [3] Aleksandr Blok. Novye materialy i issledovaniya. Lit. Nasledstvo [New materials and researches. Literary Heritage]. M., 1981. T. 92. Kn. 2. 415 s.
- [4] Beketova M.A. Vospominaniya ob Aleksandre Bloke [Memories about Alexander Blok]. M., 1990. 672 s.
- [5] Blok A.A. Sobr. soch.: v 8 t. [Collection of works: 8 volumes]. M.; L., 1960–1963.

- [6] Blok A.L. Politicheskaya literatura v Rossii i o Rossii. Vstuplenie v kurs russkogo gosudarstvennogo prava [Political literature in Russia and about Russia. Introduction into the course of Russian state law]. Varshava, 1884.
- [7] Blok G.P. Geroi «Vozmezdiya». Russkij sovremennik [The characters from “Retribution”. Russian Contemporary]. 1924. Kn. 3. S. 172–186.
- [8] Bondarenko V.V. Vyazemskij [Vyazemskiy]. M., 2004. 678 s.
- [9] Kareev N.I. Mechta i pravda o russkoj nauke. Russkaya mysl' [Dream and truth about Russian science. Russian thought]. 1884. № 12. S. 100–135.
- [10] Lermontov M.Yu. Sobr. soch.: v 4 t. [Collection of works. 4 volumes]. M., 1964–1965.
- [11] Pis'ma Aleksandra Bloka k rodnym [Letters from Alexander Blok to relatives]. L., 1927.
- [12] Pis'ma Aleksandra Bloka k rodnym [Letters from Alexander Blok to relatives]. L., 1932.
- [13] Spektorskij E.V. Aleksandr L'vovich Blok, gosudarstvennoved i filosof [Alexander Lvovich Blok, statesman and philosopher]. Varshava, 1911.

Article history:

Received: 2 December 2017

Revised: 22 December 2017

Accepted: 28 December 2017

For citation:

Sarychev V.A. (2018). Remembering him through the blood in my vein (A.L. Blok in A.A. Blok's life and literary career). *RUDN Journal of Studies in Literature and Journalism*, 23 (1), 7–28. DOI 10.22363/2312-9220-2018-23-1-7-28

Bio Note:

Sarychev Vladimir A., doctor of philological science, professor, professor, the Russian Language and Literature Department, Institute of Philology, Lipetsk State Pedagogical P. Semenov-Tyan-Shansky University. *Contacts:* e-mail: sarychev.yaroslav@yandex.ru